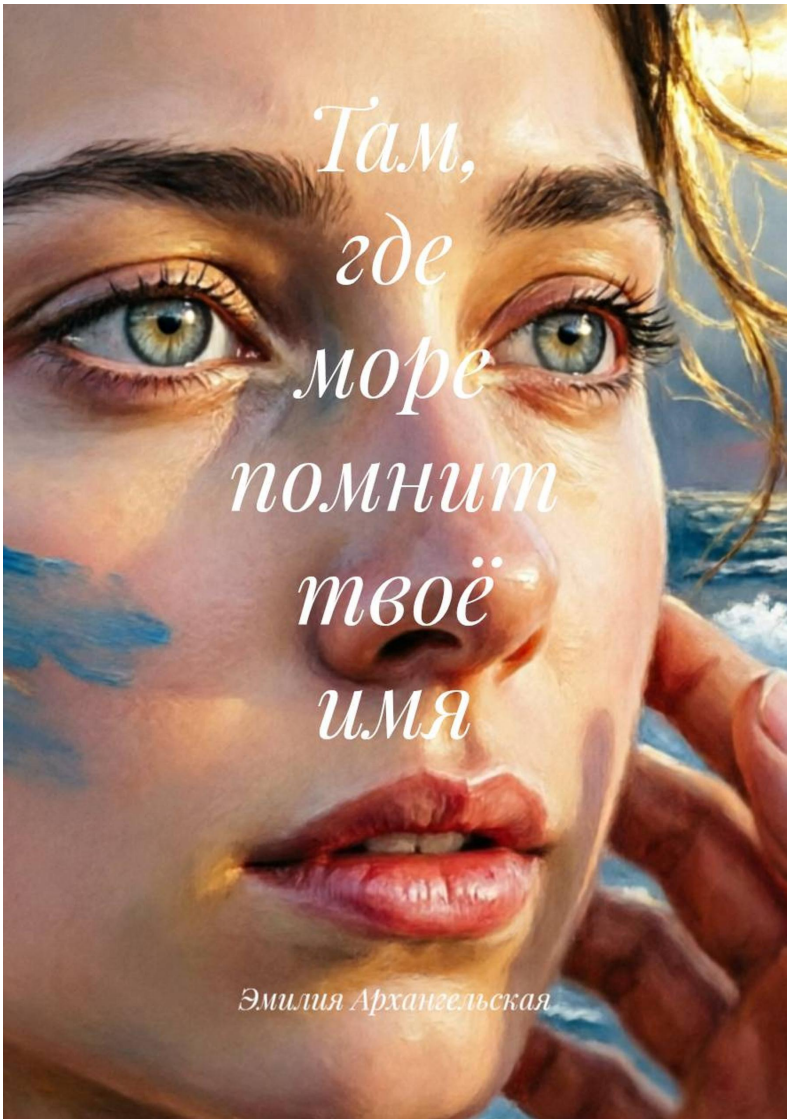

Там, где море помнит твоё имя

Эмилия Архангельская

Эмилия Архангельская
Там, где море помнит твоё имя

https://litres.ru/74296924
SelfPub; 2026

Аннотация

Алина Верхова чинит чужие воспоминания: возвращает из небытия чужие лица и чужую красоту. А свою — не может. Девятнадцать лет назад её мать, художница Елена, умерла. Так ей сказали. Девятнадцать лет Алина верила, пряталась за чужими картинами и боялась взять в руку кисть. Потому что создавать — значит гореть. А мама сгорела.

Даниил Северский приехал в Приморск на три недели — строить набережную и чертить контуры. Он не планировал оставаться. Не планировал заходить в мастерскую реставратора. Не планировал влюбляться.

Но море не спрашивает разрешения. Шторм не предупреждает. А трещины на старом холсте имеют свойство расти.

Это роман о том, как страшно быть живым: любить, когда все уходили, и творить, когда уверен, что сгоришь. О том, что слишком сладко — лучше, чем никак, а жизнь — в трещинах. И что иногда, чтобы начать дышать, нужен кто-то, кто скажет: «Рисуй. Я рядом. Я не уйду».

Море помнит. Море не забывает. Море ждёт, когда ты поднимешь голову.

Эмилия Архангельская
Там, где море помнит твоё имя

Часть первая. Встреча

Глава 1. Женщина, которая чинила чужие воспоминания

Дождь шёл третий день подряд — не тот робкий, извиняющийся дождик, что моросит в апреле, а настоящий, сентябрьский, тяжёлый, будто небо решило выжать из себя всё, что накопилось за лето. Капли били по жестяному карнизу мастерской с монотонностью метронома, и Алина Верхова, склонившись над потемневшим холстом, думала, что этот звук похож на чьё-то терпеливое ожидание. Кто-то там, наверху, ждал. Ждал, когда она наконец поднимет голову. Когда перестанет прятаться.

Она не подняла. Вместо этого Алина взяла тончайшую кисть — номер один, беличья, — обмакнула кончик в растворитель и с хирургической точностью коснулась уголка картины, где время оставило свой безжалостный отпечаток. Трещинки. Паутинки. Сеть мелких морщин на лице чужого портрета, написанного в тысяча восемьсот семьдесят третьем году неизвестным художником для неизвестной женщины.

— Ну, милая, — прошептала Алина, обращаясь к даме на портрете, чьи глаза цвета крепкого чая смотрели сквозь полтора столетия с выражением, которое Алина называла «тихой скорбью». — Ещё чуть-чуть. Ещё немного, и ты снова будешь молодой.

Мастерская реставрации «Верхова и партнёры» занимала второй этаж старого дома на улице Морской в Приморске —

городке, приютившемся на скалистом берегу Чёрного моря, где лето пахло нагретой галькой и инжиром, а осень — мокрым камнем и дымом из печных труб. «И партнёры» было лестным преувеличением: партнёров не было. Была только Алина, её руки, её кисти, её бесконечное терпение и запах скипидара, въевшийся в стены так глубоко, что, казалось, сам воздух здесь был пропитан искусством.

Ей было двадцать восемь. Двадцать восемь лет, из которых последние семь она провела в этой мастерской, склонившись над чужими картинами, чужими иконами, чужими воспоминаниями, запечатлёнными в масле и tempera. Она чинила чужую красоту. Восстанавливала чужую историю. Возвращала чужим портретам молодость и сияние.

А свою — не могла.

Алина отложила кисть, разогнула спину и подошла к окну. Дождь размазал город за стеклом в акварельное пятно: серые крыши, тёмные кипарисы, далёкая полоса моря, сливающаяся с небом. На подоконнике стояла кружка с остывшим чаем и лежала раскрытая книга — сборник писем Рильке. На странице была заложена сухая веточка лаванды.

Она поймала своё отражение в тёмном стекле. Овальное лицо, чуть бледное — оттого что солнце видела редко, проводя дни в полумраке мастерской под лампой дневного света. Тёмные волосы, собранные в небрежный узел на затылке, из которого выбивались пряди. Глаза — серо-зелёные, цвета морской воды в пасмурный день. Тонкие руки с коротко остриженными

ногтями — никаких украшений, никакого лака, только следы растворителя на кончиках пальцев.

Красивая? Пожалуй. Но той красотой, которая не кричит, а шепчет. Которую нужно разглядеть, как разглядывают старую икону, прежде чем под слоями потемневшей олифы проступит золото.

Телефон на столе коротко пиликнул. Алина не обернулась. Она знала, кто пишет. Знала, что скажет.

«Алиночка, ты опять ночуешь в мастерской? Доченька, тебе нужно есть. Ты себя не бережёшь. Позвони маме. Позвони хотя бы раз».

Мама. То есть — Тамара Петровна, мачеха. Не мама. Мама Алины умерла, когда той

было девять. Умерла в этой самой комнате — тогда ещё жилой, тогда ещё пахнущей маминими духами и масляными красками. Мама была художницей. Рисовала море. Рисовала его каждый день, в любую погоду, и море на её полотнах было живое, дышащее, солёное на вкус.

А потом мама перестала дышать. И море на картинах застыло.

Алина не позвонила. Она вернулась к портрету, к своей даме с глазами цвета крепкого чая, и продолжила снимать слой за слоем, возвращая из небытия чужую молодость.

Ей было проще с мёртвыми. Мёртвые не предавали. Мёртвые не уходили. Мёртвые просто были — на холсте, в раме, под стеклом. Тихие. Вечные. Верные.

Внизу, в крошечном кафе при мастерской, звякнул колокольчик над дверью. Алина не обратила внимания. Клиенты заходили и уходили, приносили заказы, забирали готовые работы. Обычный день. Обычный дождь.

Она не знала, что внизу, стряхивая воду с тёмного пальто, стоит мужчина, который изменит всё. Который перевернёт её тихую, размеренную, безопасную жизнь вверх дном. Который войдёт в неё, как входит в море шторм — без предупреждения, без разрешения, без возможности что-либо исправить.

Она не знала. А если бы знала — заперла бы дверь. Выключила бы свет. Спряталась бы за мольбертом и не дышала.

Но она не знала. И колокольчик звякнул. И

дождь продолжал стучать по карнизу. И дама на портрете смотрела сквозь время своими глазами цвета крепкого чая.

И всё началось.

———

Глава 2. Мужчина, который строил дома для чужих жизней

Даниил Северский ненавидел дождь.

Не потому что мокрый. Не потому что холодный. А потому что дождь размывал контуры. А Даниил всю жизнь занимался тем, что создавал контуры. Линии. Углы. Чёткие, выверенные, безупречные формы. Он был архитектором. Он строил дома. Не дома — пространства для жизни. Так он

говорил. «Я не строю дома. Я создаю пространства, в которых люди будут проживать свои жизни. Каждый угол, каждый проём, каждый луч света, падающий из окна, — это реплика в разговоре между зданием и тем, кто в нём живёт».

Ему было тридцать два. Высокий — метр восемьдесят семь, — худощавый, с длинными пальцами, в которых вечно был зажат карандаш. Тёмные волосы, чуть длиннее, чем принято у «серьёзных людей», падали на лоб, и он то и дело отбрасывал их назад резким движением головы. Скулы — резкие, будто вырезанные. Глаза — тёмно-серые, почти чёрные, с тем особенным выражением, которое женщины называли «голодным», хотя сам Даниил сказал бы, что это просто внимательность. Профессиональная. Он смотрел на мир так, как смотрят на чертёж: оценивая пропорции,

выискивая дисгармонию, мысленно перестраивая.

В Приморск он приехал три дня назад. Из Москвы. Из жизни, которая за последние полгода стала напоминать чертёж, сданный в архив: формально существующий, но никому больше не нужный.

Он не хотел сюда. Он хотел в Петербург, в свой новый проект, в стеклянные стены и стальные перекрытия. Но заказ есть заказ. Приморская мэрия объявила конкурс на реконструкцию набережной, и бюро, в котором Даниил работал последние четыре года, подало заявку. Его заявку. Его проект. И теперь ему нужно было здесь, в этом городке, пахнущем рыбой и мокрым камнем, проводить изыскания, делать замеры, общаться с местными чиновниками, которые путают фасад с фундаментом.

И дождь. Три дня дождя.

Даниил толкнул дверь кафе и замер на пороге. Помещение было крошечным — четыре столика, стойка, за которой дремала полная женщина в цветастом фартуке, и запах — скипидар, старое дерево, что-то сладковатое, будто здесь когда-то варили варенье. На стенах висели картины. Не репродукции — оригиналы. Морские пейзажи. Море, написанное так, что Даниил почувствовал соль на губах.

Он подошёл ближе к одной из картин. Море. Серое, тяжёлое, с белыми барашками волн и далёким парусником на горизонте. Мазки были живые, нервные, будто художник не рисовал, а говорил. Кричал. Умолял.

— Нравится?

Даниил обернулся. Полная женщина за стойкой смотрела на него с ленивым любопытством.

— Кто автор? — спросил он. Не потому что вежливый. Потому что мазки были настоящие. Живые. Такие редко встречаются.

— Верхова. Елена Верхова. Царствие небесное. Дочка её теперь здесь работает. Реставратор. Наверху сидит, над картинами колдует. Третий день из мастерской не выходит.

Даниил кивнул. Посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. Деревянная, скрипучая, с потёртыми перилами.

— Мне нужен кофе, — сказал он. — Чёрный. Без сахара.

— Садитесь, — женщина кивнула на столик у окна. — Сейчас принесу.

Он сел. Вытянул длинные ноги. Посмотрел в окно, за которым дождь превращал Приморск в размытую фотографию. И подумал, что три недели в этом городке будут длинными. Очень длинными.

Он не знал, что наверху, в полумраке мастерской, женщина с руками, пахнущими скипидаром, склоняется над чужим портретом и не подозревает, что через несколько часов их взгляды встретятся. Что его глаза — тёмно-серые, почти чёрные — войдут в неё, как входит нож в мягкое масло. Легко. Без сопротивления. Навсегда.

Он не знал. А если бы знал — допил бы кофе. Сел бы в машину. Уехал бы в Петербург. В

свои стеклянные стены и стальные перекрытия. В свой чертёж, сданный в архив.

Но он не знал. И кофе был горячим, и дождь стучал по стеклу, и лестница на второй этаж скрипела под чьими-то шагами.

И всё началось.

———

Глава 3. Скипидар и гроза

Это случилось в четверг. Или в пятницу. Алина потом не могла вспомнить точно. Помнила только, что дождь к вечеру усилился, превратившись в настоящую грозу, и что она работала уже двенадцатый час подряд, потому что срок сдачи портрета был завтра, а дама с глазами цвета крепкого чая

никак не хотела возвращаться из небытия.

Она сняла очки — защитные, с увеличительными стёклами, — и протёрла глаза. В висках пульсировало. Спина ныла. Пальцы одеревенели. Нужно было остановиться. Поесть. Пойти домой, в свою маленькую квартиру над булочной на соседней улице. Лечь. Закрыть глаза.

Но Алина не пошла. Она взяла кисть. Потому что если остановиться сейчас, на середине, то завтра придётся начинать заново. А завтра — срок. А послезавтра — новый заказ. А потом ещё один. И ещё. Бесконечная лента чужих картин, чужих лиц, чужих историй.

Гром ударил так, что стёкла в окнах задребезжали. Алина вздрогнула. Свет мигнул. Погас.

— Нет, нет, нет, — зашептала она, нашаривая в темноте телефон. — Только не сейчас. Только не сейчас, пожалуйста.

Фонарик. У неё был фонарик. В ящике стола. Она нащупала ящик, выдвинула, запустила руку внутрь. Пальцы коснулись чего-то холодного, металлического. Фонарик. Щёлкнула кнопка. Узкий луч выхватил из темноты угол мастерской, мольберт, холсты у стены.

И в этот момент дверь внизу хлопнула. Шаги. Быстрые, тяжёлые. Не Тамара Петровна — та поднималась медленно, с одышкой. Кто-то чужой.

Алина замерла. Луч фонарика дрожал в руке. Шаги приближались. По лестнице. Скрип. Скрип. Скрип.

Дверь мастерской распахнулась.

В проёме стоял мужчина. Высокий. Промокший насквозь. Тёмное пальто облепило плечи, волосы прилипли ко лбу, по скулам стекали капли воды. В руке — папка. Картонная, размокшая. Он прижимал её к груди, как ребёнка.

— Простите, — сказал он. Голос был низкий, чуть хриплый. Сорванный. — Внизу закрыто. Я стучал. Никто не ответил. Дверь была открыта, и я...

Он осёкся. Посмотрел на неё. На её руки, сжимающие фонарик. На пятна краски на щеке. На растрёпанные волосы. На глаза — широкие, испуганные, серо-зелёные.

Алина смотрела на него. На капли воды, стекающие по его лицу. На размокшую папку в руках. На то, как он прижимает её к груди.

— Вы промокли, — сказала она. Глупо. Очевидно. Но ничего умнее в голову не пришло.

— Да, — он усмехнулся. Криво. Устало. — Немного.

— Немного? Вы насквозь.

Он посмотрел на себя. На пальто, с которого натекла лужа на деревянный пол. На ботинки, хлюпающие при каждом шаге.

— Похоже на то. Простите. Я не хотел... Я архитектор. Северский. Даниил Северский. Приехал на проект набережной. Мне нужно было переждать грозу. Я увидел свет в окне и...

— Здесь мастерская, — перебила Алина. — Не

гостиница.

— Я вижу. — Он обвёл взглядом комнату. Картины. Мольберты. Банки с растворителем. Кисти в стаканах. Запах скипидара. — Красиво.

— Это не для красоты. Это для работы.

— Одно другому не мешает.

Они смотрели друг на друга. В свете фонарика его лицо казалось вырезанным из камня — резкие скулы, тёмные тени в глазницах, линия челюсти. А она — бледная, с пятном краски на щеке, с растрёпанными волосами и безумными глазами. Два человека в тёмной комнате. Гроза за окном. Дождь по карнизу.

— У вас есть полотенце? — спросил он.

Алина моргнула. Потом кивнула. Потом поняла, что он не видит кивка в темноте, и сказала:

— В шкафу. У окна. Вторая полка.

Он прошёл мимо неё. Близко. Слишком близко. Она почувствовала запах дождя. Мокрых волос. Чего-то терпкого, древесного. Не одеколон. Просто он сам.

Шкаф скрипнул. Полотенце зашуршало. Он вытер лицо. Волосы. Руки. Потом посмотрел на папку в руках. Размокшую.

— Чёрт, — выдохнул он. И в этом одном слове было столько отчаяния, что Алина невольно шагнула ближе.

— Что там?

— Эскизы. Чертежи набережной. Три недели работы. — Он раскрыл папку. Бумага была мокрой. Линии расплылись. Карандаш размазался. — Три недели.

Тишина. Только дождь. Только гром вдали.

Алина смотрела на его руки, держащие размокшие листы. На то, как побелели костяшки пальцев. На то, как он не дышит.

— Положите их, — сказала она тихо. — На стол. Я... у меня есть фен. Для просушки картин. И калька. И... и свет. Когда дадут свет.

Он поднял голову. Посмотрел на неё. В глазах — тёмно-серых, почти чёрных — было что-то такое, от чего у Алины перехватило горло. Не благодарность. Не удивление. Что-то другое. Что-то похожее на узнавание.

Будто он увидел её. Настоящую. Не реставратора. Не хозяйку мастерской. А ту, девятилетнюю, которая сидела у маминой кровати и держала маму за руку, пока та не перестала дышать.

— Спасибо, — сказал он. Тихо. Хрипло. Так, будто это слово стоило ему огромных усилий.

— Не за что, — ответила Алина. И поняла, что это неправда. Что за это. За то, что он вошёл. За то, что принёс с собой грозу и дождь и запах мокрого дерева. За то, что в её тихой, безопасной, выверенной жизни появилась трещина. Маленькая. Тонкая. Как трещинка на старом холсте.

Но она знала: трещинки имеют свойство расти.

———

Глава 4. Чай с мёдом и три недели работы

Свет дали через час. Неожиданно, как будто кто-то наверху щёлкнул выключателем и сказал: «Ладно. Хватит». Лампы мигнули, загорелись, и мастерская наполнилась ровным белым светом, безжалостно высветившим каждую деталь.

Даниил сидел за рабочим столом Алины — тем самым, заваленным кистями и баночками с пигментами, — и раскладывал мокрые эскизы на просушку. Аккуратно. Бережно. Каждый лист — отдельно. Каждая линия — на вес золота.

Алина стояла у него за спиной и держала фен. Тёплый воздух гудел, шевелил края бумаги. Капли испарялись. Линии

проступали. Не все. Некоторые расплылись безвозвратно. Но большинство — большинство можно было спасти.

— Здесь, — сказал Даниил, не оборачиваясь. Его палец скользил по бумаге. — Вот эта линия. Она была другой. Более... плавной.

— Я не архитектор, — ответила Алина. — Я не знаю, как должно быть.

— Вы реставратор. Вы знаете, как вернуть то, что было.

Она замолчала. Посмотрела на его профиль. На то, как он склонился над бумагой. На длинные пальцы, обводящие контуры. На то, как он шевелит губами, будто разговаривает с чертежом.

— Вы разговариваете со своими рисунками?

— спросила она.

Он обернулся. Улыбнулся. Впервые за вечер. Улыбка была кривая, усталая, но настоящая.

— Вы разговариваете со своими картинами. Я слышал. Когда поднимался. «Ну, милая, ещё чуть-чуть».

Алина почувствовала, как жар прилил к щекам. Она не знала, что он слышал. Что стоял у двери. Что слушал.

— Это... профессиональная привычка, — пробормотала она. — Когда долго работаешь один, начинаешь...

— Разговаривать с теми, кто не ответит, — закончил он. — Я понимаю.

Тишина. Фен гудел. Дождь за окном слабел.

— Чай, — сказала Алина вдруг. — Вам нужен чай. Вы мокрый. Замёрзший. Вам нужен горячий чай.

— Мне не нужно...

— Я не спрашиваю. Я говорю.

Она отвернулась. Пошла к маленькой плитке в углу. Поставила чайник. Достала кружки. Одну — свою, с отколотым краем, с надписью «Приморск. Курортный сезон 2019». Другую — простую, белую, для клиентов.

Даниил смотрел на неё. На то, как она двигается. Быстро. Чётко. Как человек, который давно живёт один и давно не готовит чай для двоих. Как человек, который забыл, каково это — когда кто-то рядом.

— С мёдом? — спросила она, не оборачиваясь.

— Да. Пожалуйста.

Она достала банку мёда. Густой, тёмный, гречишный. Положила две ложки в его кружку. Потом одну в свою. Потом подумала и положила ещё одну.

— Вы всегда кладёте мёд на глаз? — спросил он.

— Да.

— А если переложите?

— Тогда будет слишком сладко. Но это не страшно. Слишком сладко лучше, чем никак.

Он посмотрел на неё. Долго. Так, как

смотрят на картину, которую видят впервые. Пытаясь понять. Пытаясь угадать, что за слоями краски. Что за грунтом. Что за холстом.

— Расскажите мне про эту картину, — сказал он, кивнув на портрет дамы с глазами цвета крепкого чая. — Кто она?

Алина поставила кружки на стол. Села на край табурета. Обхватила ладонями горячую керамку.

— Не знаю. Портрет заказали из частного собрания. Говорят, это жена какого-то купца. Девятнадцатый век. Художник неизвестен. Но мазки... мазки живые. Нервные. Будто он спешил. Будто боялся не успеть.

— Не успеть что?

— Запомнить. — Алина отпила чай. Обожгла губы. Не поморщилась. — Знаете, есть такие портреты. Когда художник пишет не для кого-то. Не на заказ. Не за деньги. А потому что боится забыть. Потому что знает: ещё немного, и она уйдёт. И тогда он берёт кисть и пишет. Быстро. Жадно. Пока помнит. Пока видит. Пока она здесь.

Даниил молчал. Смотрел на неё. На то, как она держит кружку. На то, как пар поднимается от чая и касается её лица. На то, как она не плачет. Хотя должна была бы. По тому, как она говорила. По тому, как смотрела на картину.

— Вы говорите о художнике, — сказал он тихо. — Или о себе.

Алина подняла глаза. Встретила его взгляд. Тёмно-серый. Почти чёрный. Голодный.

Внимательный.

— Я говорю о картине, — ответила она. — Чай стынет. Пейте.

Он пил. Горячий, сладкий, с привкусом гречишного мёда. И смотрел на неё поверх края кружки. И думал: «Кто ты? Что за тобой? Что ты прячешь за этими серо-зелёными глазами и руками, пахнущими скипидаром?»

А она думала: «Уходи. Дождь кончается. Уходи. Не нужно. Не надо. Не трогай».

Но он не уходил. И она не прогоняла. И чай остывал. И дождь за окном затихал. И дама на портрете смотрела на них своими глазами цвета крепкого чая.

И молчала.

———

Глава 5. Три недели

Три недели. Даниил сказал себе: три недели. Срок проекта. Срок изысканий. Срок, через который он сядет в машину и уедет в Петербург, в свои стеклянные стены и стальные перекрытия. В свой чертёж. В свой архив.

Три недели.

Но три недели превратились в тридцать дней, а тридцать дней — в шестьдесят, а шестьдесят — в девяносто. Потому что набережная оказалась сложнее, чем он думал. Потому что местные чиновники путали фасад с фундаментом. Потому что грунт был нестабильный. Потому что нужно было переделывать. И переделывать. И

переделывать.

Или потому что каждое утро он просыпался в гостинице на берегу и первым делом думал не о чертежах. А о мастерской на улице Морской. О запахе скипидара. О серо-зелёных глазах. О руках с короткими ногтями, которые держат кисть так, будто держат чьё-то сердце.

Он приходил в мастерскую каждый день. Сначала — по делу. Показывал эскизы. Просил совета по цветовой гамме фасадов. Спрашивал, какой оттенок песка на этом берегу. Какой цвет у моря в ноябре. В марте. В шторм.

Алина отвечала. Коротко. Сухо. Профессионально.

— Песок здесь серо-золотистый. С

вкраплениями ракушечника. Море в ноябре — свинцовое. В марте — зелёное, мутное, как бутылочное стекло. В шторм — чёрное. С белым.

— Вы очень точно видите, — говорил он.

— Я реставратор. Я вижу то, чего другие не замечают. Трещины. Сколы. Изменения цвета.

— А в людях?

Она поднимала глаза. Смотрела на него. Коротко. Остро.

— В людях я тоже вижу трещины, — говорила. — Но чинить их не берусь.

Он усмехался. Кивал. Уходил.

А на следующий день приходил снова.

И снова.

И снова.

Пока однажды, в середине ноября, когда ветер с моря гнал по улице сухие листья и пахло штормом, Алина не сказала:

— Вы не обязаны приходить каждый день. Эскизы можно прислать по почте.

Даниил стоял у окна. Смотрел на море. Далёкое, серое, с белыми гребешками.

— Знаю, — сказал он. Не оборачиваясь.

— Тогда зачем?

Тишина. Ветер за окном. Скрип старой рамы.

— Потому что здесь тихо, — сказал он наконец. — Потому что здесь пахнет скипидаром и мёдом. Потому что вы разговариваете с картинами. Потому что вы кладёте мёд на глаз. Потому что...

Он обернулся. Посмотрел на неё.

— Потому что здесь я не чувствую себя чертежом, сданным в архив.

Алина замерла. Кисть в руке остановилась. Капля растворителя упала на пол. Она не заметила.

— Что? — прошептала она.

— Вы слышали.

— Я не...

— Алина. — Он произнёс её имя так, как никто не произносил. Не «Алиночка», как Тамара Петровна. Не «Алин», как подруги. А полностью. Целиком. Как заклинание. Как молитву. — Алина. Я прихожу сюда не из-за эскизов.

Она молчала. Смотрела на него. На его руки в карманах. На его глаза. На то, как он стоит у окна и свет падает на его лицо, и скулы кажутся вырезанными из камня, и в глазах — тёмных, голодных — что-то такое, от чего у неё перехватывает горло.

— Вам нужно уйти, — сказала она. Тихо. Ровно. Как говорят о чём-то неизбежном. О дожде. О зиме. О смерти.

— Знаю.

— Тогда уходите.

Он не ушёл. Он подошёл. Ближе. Ещё ближе. Так близко, что она чувствовала его запах. Дождь. Мокрое дерево. Что-то терпкое. Он сам.

— Не могу, — сказал он. Тихо. Хрипло. — Не могу уйти. Не сейчас. Не от вас.

— Вы меня не знаете.

— Знаю. Три недели. Каждый день. Я знаю, как вы держите кисть. Как вы морщите нос, когда недовольны. Как вы разговариваете с картинами. Как вы пьёте чай — обжигаясь и не морщась. Как вы кладёте мёд на глаз. Как вы молчите, когда вам больно.

Алина отступила. Шаг. Ещё шаг. Спина упёрлась в стену. В холодную, шершавую стену мастерской.

— Перестаньте, — сказала она. Голос дрогнул. Сломался. — Перестаньте. Не надо. Я не... Я не могу.

— Чего не можете?

— Не могу снова. Не могу... — Она задохнулась. Слова застряли в горле. Ком. Огромный, колючий ком. — Не могу снова потерять. Не могу снова стоять и смотреть, как... как...

Она не договорила. Не смогла. Закрыла глаза. Прижалась затылком к стене. Дышала. Часто. Мелко. Как после бега.

Даниил стоял перед ней. Близко. Слишком близко. И не касался. Не обнимал. Не утешал. Просто стоял. Ждал. Дышал.

— Кто? — спросил он. Тихо. Бережно. Как касаются трещины на старом холсте. — Кто ушёл?

— Мама, — прошептала Алина. Не открывая глаз. — Мне было девять. Она рисовала море. Каждый день. А потом перестала. А потом...

Тишина.

— Мне жаль, — сказал он.

— Не нужно. Не нужно жалеть. Это было давно.

— Девять лет — это не давно. Это никогда.

Она открыла глаза. Посмотрела на него. Снизу вверх. Потому что он был выше. Намного выше. И его лицо было близко. И

его глаза были тёмные. И в них — не жалость. Не сочувствие. Что-то другое. Что-то, что она не могла назвать. Не смела назвать.

— Почему вы здесь? — спросила она. Шёпотом. — Почему вы не в Петербурге? Почему вы не со своими стеклянными стенами?

Он молчал. Долго. Потом поднял руку. Медленно. Осторожно. Как касаются хрупкого. Коснулся её щеки. Кончиками пальцев. Едва-едва. Так, что она почувствовала не прикосновение, а тепло.

— Потому что здесь вы, — сказал он.

И поцеловал её.

Не жадно. Не грубо. Тихо. Осторожно. Как касаются губами края старой иконы. Как

дышат на замёрзшее стекло. Едва-едва. Чуть-чуть. Так, что можно было сказать себе: не было. Показалось. Померещилось.

Но не померещилось. Его губы были тёплые. Чуть шершавые. Пахли чаем. Мёдом. Дождём.

Алина не отстранилась. Не оттолкнула. Не сказала «перестаньте». Она замерла. Замерла, как замирает картина, когда на неё падает первый луч света после лет темноты. И в груди что-то щёлкнуло. Тихо. Едва слышно. Как трещинка на холсте. Как первый мазок кисти по чистому полотну.

А потом она ответила. Едва-едва. Чуть-чуть. Так, что можно было сказать себе: не было. Но было. Было.

Он отстранился. Посмотрел на неё. В глазах

— тёмных, голодных — было что-то новое. Не голод. Не жажда. Страх. Настоящий, живой страх.

— Простите, — сказал он. — Я не должен был.

— Да, — согласилась она. — Не должны были.

— Я уйду.

— Да. Уйдите.

Он кивнул. Отошёл. Взял папку с эскизами. Пошёл к двери. Остановился. Обернулся.

— Завтра, — сказал он. — Я приду завтра. Не по делу. Просто. Приду.

— Не приходите.

— Приду.

И ушёл. Лестница скрипнула. Дверь внизу хлопнула. Колокольчик звякнул.

Алина стояла у стены. Прижавшись затылком. С закрытыми глазами. С губами, которые ещё помнили чай и мёд. С грудью, в которой что-то билось. Живое. Горячее. То, что она считала мёртвым. То, что она похоронила девятнадцать лет назад, у маминой кровати.

Оно билось. Оно дышало. Оно жило.

И это было страшно.

Страшнее любого шторма. Любого дождя. Любой грозы.

———

Глава 6. Море в ноябре

Он пришёл. На следующий день. И на следующий. И на следующий.

Не по делу. Без папки. Без эскизов. Без предлогов. Просто приходил. Садился на табурет у окна. Смотрел, как она работает. Иногда молча. Иногда говорил. О чём угодно. О набережной. О море. О том, как в Петербурге свет падает на воду. О том, как в детстве он строил дома из спичек и мать ругала его за пожароопасность. О том, что он не спал три ночи подряд, потому что думал о ней.

Алина слушала. Работала. Кисть в руке. Растворитель. Пигмент. Тончайшие слои. Миллиметр за миллиметром. Возвращала чужую красоту из небытия. И слушала.

Иногда отвечала. Коротко. Односложно. Но отвечала.

А потом перестала быть односложной. А потом перестала быть короткой. А потом начала говорить сама. О маме. О картинах. О том, как в девять лет сидела у кровати и держала мамину руку. О том, как папа ушёл через год. Не умер. Ушёл. Живой. Здоровый. Просто ушёл. К другой женщине. В другой город. В другую жизнь. О том, как Тамара Петровна стала мачехой. Хорошей. Заботливой. Чужой. О том, как она выбрала реставрацию, потому что не могла рисовать. Не могла создавать. Только чинить. Только возвращать. Только спасать чужое.

Даниил слушал. Не перебивал. Не жалел. Не утешал. Просто слушал. И кивал. И иногда касался её руки. Едва-едва. Кончиками пальцев. Так, что можно было сказать себе:

не было.

Но было.

В конце ноября море стало чёрным. Штормило. Волны били в набережную, перелетали через парапет, рассыпались брызгами. Ветер гнал по улице пену и сухие листья. Небо было низким, свинцовым, давящим.

Они гуляли по набережной. Вдвоём. В первый раз. Не в мастерской. Не среди картин и кистей. А снаружи. На ветру. На холоде. Наедине с морем.

Алина шла быстро. Ветер рвал шарф. Волосы выбивались из-под шапки. Щёки горели. Глаза слезились.

Даниил шёл рядом. Руки в карманах.

Воротник поднят. Смотрел на море. На волны. На пену.

— Я ненавижу шторм, — сказала Алина. Крикнула. Ветер уносил слова. — Ненавижу. Громко. Страшно. Неуправляемо.

— Я люблю шторм, — крикнул он в ответ. — Честно. Без масок. Без притворства. Море показывает себя таким, какое оно есть. Злое. Дикое. Живое.

— А тихое море?

— Тихое море — это ложь. Красивая. Гладкая. Удобная. Но ложь.

Она остановилась. Повернулась к нему. Ветер хлестнул по лицу. Волна разбилась о парапет в трёх метрах от них. Брызги. Солёные. Холодные.

— А я? — крикнула она. — Я какая? Тихая или шторм?

Он подошёл. Близко. Взял её лицо в ладони. Холодные пальцы на горящих щеках. Посмотрел в глаза. Серо-зелёные. Мокрые. Не от ветра. Не от брызг.

— Ты — море, — сказал он. Не крикнул. Сказал. Тихо. Так, что она услышала сквозь ветер. Сквозь шум волн. Сквозь всё. — Ты — море, которое притворяется тихим. Но я вижу шторм. Я всегда видел.

И поцеловал её. На ветру. В брызгах. В грохоте волн. Не тихо. Не осторожно. Жадно. Голодно. Как пьют после долгой жажды. Как дышат после долгого падения.

Она вцепилась в его пальто. В мокрые

лацканы. В ткань. В него. Целовала в ответ. Солёные губы. Мокрые щёки. Ветер в волосах. Грохот. Шторм.

А потом он оторвался. Прижал её к себе. Обнял. Крепко. Так крепко, что рёбра заныли. Уткнулся лицом в её макушку. Дышал. Тяжело. Горячо.

— Алина, — сказал он. В её волосы. В ветер. В шторм. — Алина. Я не умею это. Я не умею... чувствовать. Я всю жизнь строил. Линии. Углы. Формы. Чёткие. Выверенные. А ты... ты разрушаешь все мои контуры. Все мои стены. Все мои...

— Знаю, — прошептала она в его пальто. В мокрую ткань. В тепло его тела. — Знаю. Я тоже. Я не умею. Я девятнадцать лет не умела. Я пряталась. За кистями. За картинами. За чужими лицами на портретах.

А ты...

Она подняла голову. Посмотрела на него. Снизу вверх. Ветер. Брызги. Солёные губы.

— Ты пришёл и сказал: «Я вижу тебя». И это... это страшнее шторма. Страшнее всего.

Он коснулся её лба своим. Закрыл глаза.

— Я знаю, — сказал он. — Я тоже боюсь. До чёртиков. До тошноты. До дрожи в коленях. Но я не могу иначе. Не могу не быть здесь. Не могу не видеть тебя. Не могу не...

Он не договорил. Не нужно было. Она знала. Она чувствовала. В его руках. В его дыхании. В том, как он прижимал её к себе, будто боялся, что она исчезнет. Как мама. Как папа. Как все.

— Не уходи, — сказала она. Тихо. В его губы. В

его дыхание. — Пожалуйста. Не уходи.

— Никогда, — ответил он. — Никогда. Клянусь. Никогда.

И море ревело. И ветер выл. И волны били в парапет. И они стояли. Обнявшись. Мокрые. Солёные. Живые.

Впервые за много лет — живые.

———

Глава 7. Зима

Зима в Приморске была мягкой. Не московской, не петербургской. Без снега. Без морозов. Только ветер. И дождь. И море, которое в декабре становилось тёмно-зелёным, тяжёлым, как старое бутылочное

стекло.

Они были вместе. Каждый день. Каждую ночь. Каждое утро.

Даниил переехал из гостиницы. Не к ней. Не сразу. Сначала просто перестал уходить. Засыпал на диване в мастерской, пока она работала. Просыпался от запаха скипидара и кофе. Смотрел, как она склоняется над холстом. Как бормочет. Как морщит нос. Как отбрасывает волосы со лба тыльной стороной ладони, оставляя на виске след краски.

Потом снял квартиру. На соседней улице. Маленькую. С видом на море. С балконом, на котором по утрам можно было пить кофе и смотреть, как солнце встаёт из воды.

Алина приходила к нему. По вечерам. Когда

мастерская закрывалась. Когда картины засыпали. Когда дама с глазами цвета крепкого чая оставалась одна в тёмной комнате.

Она приходила. Садилась на пол у его ног. Он рисовал. Она смотрела. Или он обнимал её. И они молчали. Или говорили. Или целовались. Долго. Медленно. Так, будто у них было целое время. Целая вечность.

— Расскажи мне, — просила она. Лёжа у него на груди. В темноте. Его пальцы рисовали круги на её плече. — Расскажи мне что-нибудь.

— Что?

— Что угодно. Про детство. Про маму. Про спички.

Он усмехался. В темноте. Она чувствовала усмешку по тому, как вздрагивала его грудь.

— Мне было семь. Я построил дом из спичек. Трёхэтажный. С балконом. С крышей. Мать ушла в магазин. Я зажёг свечу. Поставил внутрь. Хотел, чтобы в окнах был свет. Как в настоящем доме.

— И?

— И дом сгорел. За три секунды. Я стоял и смотрел. Не плакал. Не кричал. Просто смотрел. Как горит. Как рушится. Как...

Он замолчал. Алина подняла голову. Посмотрела на него. В темноте видела только контур. Скулы. Линию челюсти.

— Как что?

— Как всё, что ты построил, может исчезнуть за три секунды. Как всё, что ты создал, может сгореть. И ты стоишь. И смотришь. И ничего не можешь сделать.

Тишина. Его пальцы на её плече остановились.

— Это поэтому ты строишь из камня? — спросила она. — Из бетона. Из стали. Из того, что не горит?

Он не ответил. Но она почувствовала, как напряглась его грудь. Как сбилось дыхание.

— Даниил, — прошептала она. Коснулась его щеки. Пальцами. Едва-едва. — Даниил. Я не сгорю. Я не исчезну. Я не уйду.

Он схватил её руку. Прижал к щеке. Крепко. Так, что пальцы побелели.

— Обещай, — сказал он. Хрипло. Тихо. — Обещай мне.

— Обещаю.

— Поклянись.

— Клянусь. Мамой. Морем. Всем, что у меня есть. Я не уйду.

Он перевернулся. Оказался над ней. В темноте. Его лицо было близко. Его глаза — тёмные, голодные, испуганные. Он смотрел на неё так, как смотрят на последнее, что осталось. На единственное. На то, без чего нельзя.

— Я люблю тебя, — сказал он. Впервые. Тихо. Хрипло. Как будто эти слова жгли горло. Как будто они были опасными. Как будто, произнеся их, он подписывал приговор. — Я

люблю тебя, Алина. С того первого вечера. С того фонарика. С того чая с мёдом. С того момента, когда ты сказала: «Слишком сладко лучше, чем никак». Я люблю тебя.

Она не ответила. Не сразу. Смотрела на него. В темноте. В тишине. В тепле его тела.

А потом обвила руками его шею. Притянула. Поцеловала. В губы. В щёку. В закрытые глаза. В кончик носа.

— Я тоже, — прошептала. В его губы. В его дыхание. В его жизнь. — Я тоже тебя люблю. Даниил. Я тоже.

И он целовал её. Долго. Медленно. Жадно. Как пьют после долгой жажды. Как дышат после долгого падения. Как живут после долгой смерти.

А за окном шумело море. Тёмное. Зимнее. Живое.

И они были живые. Впервые. По-настоящему. Навсегда.

Так им казалось.

———

Часть вторая. Трещина

Глава 8. Письмо

Это случилось в феврале. В середине февраля, когда море было серым, как старое олово, и ветер нёс запах весны — далёкой, невозможной, но уже ощутимой.

Алина была в мастерской. Работала над новым заказом. Икона. Шестнадцатый век. Тёмная. Почти чёрная. Под слоями копоти и олифы угадывалось лицо. Женское. Тихое. Скорбное.

Даниил был в мэрии. Совещание. Третий час. Четвёртый. Она не считала. Она не считала часы без него. Она просто работала. Ждала. Жила.

Телефон пиликнул. Не Даниил. Незнакомый номер. Московский.

Алина вытерла руки тряпкой. Взяла телефон. Посмотрела на экран.

Неизвестный номер. Сообщение.

«Алина, здравствуйте. Это Виктор Верхов. Мне нужно с вами поговорить. Это важно.

Это касается вашей матери. Позвоните мне. Пожалуйста».

Алина замерла. Экран светился. Буквы плыли. Виктор Верхов. Отец. Тот самый, который ушёл. Который не умер. Который просто ушёл. В другой город. В другую жизнь. К другой женщине. Девятнадцать лет назад.

Она не позвонила. Положила телефон на стол. Вернулась к иконе. Взяла кисть. Опустила в растворитель. Коснулась холста.

Руки дрожали.

Она не позвонила. Ни в тот день. Ни на следующий. Ни через неделю.

Но сообщение не исчезало. Оно было там. В телефоне. В памяти. В груди. Маленькое. Колючее. Как заноза.

А в конце февраля Даниил сказал:

— Мне нужно в Москву. На три дня. Презентация проекта. Защита перед комиссией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.